
Вячеслав НЕМЫШЕВ

ЮБИЛЕЙ

Маленькая повесть

Писателю Эриху Марии Ремарку посвящается

Мне исполнилось сорок лет в метро на станции «Таганская». Мне нравится проезжать «Таганскую»: она связана с именем Высоцкого. К сорока годам я окружил себя порядочными людьми: Шекспиром, Толстым, Хемингуэем, Ремарком. Читаю в метро: езжу в метро нечасто, поэтому читаю быстро, чтобы за поездку туда-сюда успеть прочитать половину.

Закрылись двери, следующая станция «Павелецкая», я посмотрел на часы: понял, что мне уже сорок, и перелистнул страницу.

...Умными оказались люди бедные и простые — они с первого же дня приняли войну как несчастье, тогда как все, кто жил получше, совсем потеряли голову от радости, хотя они-то как раз и могли бы куда скорее разобраться, к чему все это приведет. Катчинский утверждает, что это все от образованности, от нее, мол, люди глупеют. А уж Кат слов на ветер не бросает...

Жаль, что мне ехать недолго. Когда долго, я вчитываюсь и не замечаю людей вокруг. Меня толкают, я тоже толкаюсь, но не замечаю. К тому же Ремарка читаешь за поем. Прелестный, бодрый, здоровый голос объявил:

— Следующая станция...

Жаль, рвется мысль: восприятие умной книги — это как слушать «Коней привередливых» Высоцкого и не дослушать. Следующая моя — «Киевская».

Мне нужно в «Европейский» — прелестный торговый центр на площади Европы. Я не люблю Кольцевую линию, на ней пахнет пригородными электричками: по моим ногам прокатывается тележка, тележку катит мужчина с широкой спиной. Я свирепею и всю дорогу наверх из метро думаю, как было бы хорошо дать тому мужчине пинка.

Нужный мне выход из метро сразу в торговый центр. Мне на пятый этаж. Там банкетный зал. Я еду на юбилей...

Изя Гарцман, рыжий пройдоха, но исправно мне платящий, позвонил и сказал: «Муся! — он нагло звал меня Муся, потому что сам был голубой и хотел, чтобы все вокруг отзывались на нежные имена. — Муся, дорогой, постоишь с микрофоном? Полтора часа — две сотни баксов».

Вячеслав Валерьевич Немышев родился в 1969 году. Работал военкором на телеканалах НТВ, ГТРК «Вести», «Звезда». Некоторое время находился в зонах боевых действий. Автор книг: «Сто первый», «Буча», «Синдром Корсакова», «Дневник полковника Макогонова» (издательство «Вече»). Лауреат премии Союза писателей РФ за книгу «Буча». Фильм «Камчатка — лекарство от ненависти» получил Гран-при фестиваля документального кино в Амстердаме (2014).

Две сотни мне нужны — я нигде не работаю. Певица Алла Пугачева спрашивает: «...ну как на свете без любви прожить?» Не знаю, зато знаю, как прожить без зарплаты, но в двух словах не объясню: тут запить нужно и чтобы на третий день в пивной, за грязной стойкой, стоял официант, студент-доходяга. Ему я бы мог рассказать — он поверит.

Взрослые мне не поверят: во-первых, взрослые уже не читают Ремарка, во-вторых, они думают, что я — неудачник. И ошибаются.

Пятый этаж в «Европейском» — парковка. Парковка машин, а не отечественного хлама. Хлама нет: меня радует чистота под ногами и под колесами. Грязь собирают дворники из братских республик, паркуют машины парковщики из дальнего Подмосковья. Они мне объясняют, как пробраться в банкетный зал. Пробираюсь. Иду по коридору. Эрих Мария! Какое имя! Я не завидую Эриху Марии, я благоговею перед ним.

В подсобных помещениях артисты готовятся к выступлению: девушки в тонких колготках, юноши с лицами арлекинов. Мужчины в строгих костюмах — это охранники заведения. С охранниками нужно говорить любезно, или на их языке, или молча показать им раскрытый паспорт с фамилией.

Мне указывают, куда идти, я иду и через узкую дверь попадаю в предбанник — холл, где высокие потолки и окна во всю стену, на стенах картины маслом: абрикосовые косточки, гранаты, красная вишня на снегу. Ближе ко входу в банкетный зал — листья тополя крупными мазками; сирень в голубой вазе, но в теплых тонах; лодка тонет в желтом море под жареным небом.

Банкетный зал разделен на три сектора: сцена, на которой стоят двое мужчин с микрофонами; центральная зона со столиками на десять персон каждый, меж столиков носятся официанты, они разговаривают шепотом; и техническая зона. В технической зоне пол устлан проводами: когда видишь такое количество проводов — коммутацию, начинаешь с уважением относиться к видеоинженерам; когда видишь видеокамеры, выстроенные в ряд, проникаешься уважением к операторам. Камер пять или восемь. Меня трогают за рукав. Изя. Рыжий черт.

— Изя, я пришел.

— Мой ты дорогой... Денежки, как всегда, после.

— А можно до?

— Я тебя люблю...

— За что?

— Ты не еврей, но нестибаем.

Изя обрисовывает ситуацию:

— Понимаешь, милый, это юбилей известного композитора.

— Да-а?

В это время двое мужчин на сцене запели под громкую музыку, я прислушался и понял, что один из них поет по-итальянски. Изя показал кивком:

— Вон тот милый мужчина справа наш юбиляр.

— А что он написал? — вполне закономерный вопрос с моей стороны: например, композитора «Трех мушкетеров» публика в лицо не знает. Изя замаялся. Когда Изя мнется, я понимаю, что этот гад сейчас будет говорить правду.

— Он пишет для узкого круга... — и вдруг, будто в оправдание, Изя отчеканивает полупшепотом, коснувшись мягкими губами моего уха (меня передернуло). — Он депутат... ну да, да, думской фракции...

— Фракции?

— Фракции. И крупный бизнесмен, — и тут же, снова оправдываясь: — Будут высококультурные, порядочные гости. Никакой бычки, никаких пальцев. Все прилично.

Интеллигентное общество. В общем, я тебе все объяснил. Ну, спроси там... — Изя задумался. — Сорок лет как-то не принято отмечать. Концерт... Ну, пусть чего-нибудь пожелают юбиляру.

— И все? — спросил я.

— Да, дорогой, — ответил Изя и сделал муа-муа губками. Он запнулся о комму- тацию, грубо выругался и ушел с моих глаз. Я подумал, что симпатизирую голубым. Они безвредны.

Юбиляр на сцене распелся: у него был голос с хрипотцой, ему нравилось держать микрофон у рта. Пел он неплохо. Я минуту послушал и вышел из банкетного зала в холл, где мне и предстояло работать. Изя, пока вводил меня в курс дела, таскал за собой по технической зоне и познакомил с оператором. Оператор, невысокий паре- нек, на свету оказался среднего роста мужчинкой, с морщинками на висках и лбу, пегими выцветшими волосенками и приятной, открытой улыбкой. Он суетливо по- здоровался, заговорил о ерунде, одним словом, сразу мне понравился.

Мне нравилось взрослеть. В двадцать пять у меня была женщина. Случайно она стала моей любовницей и другом года на три. Она была некрасива, но беспардонна в постели: я долго забывал ее. Она мне сказала: «Муся, — она тоже звала меня Му- ся, как и Изя, но по другому поводу: просто я был Миша, — Муся, ты станешь нра- виться женщинам к сорока». Час назад на «Таганской» мне наступило сорок.

Я прошелся по холлу. То тут, то там стояли девушки в черных платьях с деколь- те, пламенными губами и четко вычерченными под платьем трусиками. Они именно стояли — в этом заключалась их работа. Когда юбиляр выйдет в холл встречать го- стей, девушки станут улыбаться ему, станут улыбаться гостям; меня, высокого шатена в голубых джинсах и черной водолазке на круглых плечах, они замечать не долж- ны, потому что я в некотором роде обслуга. Но только в некотором.

Я подошел к панорамному окну. Центр в огнях. Огни центра Москвы отличаются от вокзальных огней главным — цветом. В центре — цвета яркие, на вокзалах — заметные: чтобы толпа не проскочила мимо своей пригородной электрички. Центр люминесцирует. Перекинулся хрустальный мост через замерзшую реку, по нему лю- ди сразу попадают на площадь Европы. А с площади Европы буквально шаг до при- городного перрона Киевского вокзала: очень удобно — из Европы в Нару. В Наре огней нет. Там ночью — ночь: люди спят после трудового дня.

Я знал, что за моей спиной стоят две девушки-модели: они, как стражники у лифта, должны первыми приветствовать гостей. Я обернулся и двинулся от ок- на; девушка, что стояла ко мне лицом, смотрела на меня, не отрывая взгляда. Мне по- казалось, что она смотрела с восхищением: в ее возрасте (а было ей лет девятнад- цать) страсть еще не знакома девушкам, но они всем сердцем стремятся познать ее. Что и читалось в глазах юной особы у лифта. Я прошел мимо. И встал у стены: по- искал место для рук, нашел и сунул их в карманы.

Минут тридцать мы просто стояли. Продюсером Изей был нам придан инже- нер, премилый толстячок с косым взглядом. Присмотревшись к нему, я примерился к его взгляду — в правый глаз. Косой инженер меня не беспокоил: они с оператором ковырялись в камере — мне было все равно, чем они заняты. Я равнодушно водил глазами по залу. Наконец появился первый гость. Первый — самый ненужный и не- важный. Так обычно бывает на юбилеях — ценные кадры появляются под занавес. Первый был очень близок юбиляру: они поцеловались и выпили поднесенного при- слугой шампанского, закурили тонкие белые сигареты.

Юбиляр выглядел на сорок. Миллионов... Я улыбнулся про себя — миллионов у него, должно быть, было больше, чем «на сколько он выглядел». Так принято

в порядочном обществе: чтобы не вызывать ненужную зависть и не выделяться среди приличных и порядочных людей, часть миллионов переводят в валюту и прячут в банках.

Мне стало смешно от собственных рассуждений. Вот бы их записать и дать прочитать вон хоть инженеру. Или фотографу...

И тут я увидел ее. И вся пошлость про деньги вылетела из моей головы.

Она была прелестна: темно-каштановая головка, узкие плечи, тонкие руки, губы, профиль и беспардонный взгляд густо-карих глаз. Моника Беллуччи, ты моя! — подумал я. Она зачем-то натянула на себя темные, в полоску, брюки со стрелками, и эти стрелки расходились на ее шикарном заду. Брюки не портили ее, скорее, возбуждали фантазию. На ней была темная глупая кофточка. Она двигалась по холлу так: от бедра, повиливая стрелками на зад, выбирая носиком туфельки, куда наступить. Туфельки на ней были со стертými носками — это единственное, что мне не понравилось.

Две маленькие ручки сжимали большой фотоаппарат, она занимала позиции-позы: когда видела кадр, подносила камеру к профилю и делала снимок. Смотрела, что получилось, и снова вздергивала носик. Она была юбилейным фотографом. А может, как и я, перебивалась случайными заработками: только у меня главное позади, у нее, похоже, впереди.

Мы пересеклись взглядами, она заметила, что я наблюдаю за ней. И не загордилась, не взбеленилась. А стала исподтишка посматривать: сначала, чтобы убедиться, что я в самом деле наблюдаю, потом, чтобы знать, что я все еще наблюдаю. Потом привыкла ко мне, а я к ней. Потом пошли гости.

Оказалось, что все гости очень близки с юбиляром. Все — и мужики, и бабы — с ним нежно расцеловывались.

Моя Беллуччи их щелкала.

Начал работать и я: мы подсакивали к очередному гостю после того, как тот облобызается с юбиляром, подсовывали микрофон в лицо — два слова юбиляру! Ах-ах-ах, какой он, юбиляр, замечательный, говорили все гости. Мы говорили нежнейшее спасибо и отходили к гобеленовой стене с гранатами и вишней на снегу. Изя просил снимать только известных гостей: артистов, политиков, меценатов. Меценатов я в лицо не знал, политиков знал не всех. Артистов и телеведущих — плевое дело. С них и начали. Как и обещал Изя, не было ни одного неприличного, все изысканно пахли и держали под локотки декольтированных баб. Бабы мне не понравились — ни одна. Я все время между «дорогой мой юбиляр, как я тебя муа-муа!» искал и находил глазами свою Беллуччи.

Гости шли не сплошным потоком, и мой оператор, увидев знакомого охранника, отошел к нему и стал с ним беседовать. О чем они беседовали, я не слышал, но когда оператор вернулся и поднял с пола камеру, то рассказал, что с этим охранником они встречались в Чечне в первую кампанию. Крутой был спецназовец! Я никак не отреагировал. Оператор стал рассказывать инженеру про Чечню. Я искал глазами мою Беллуччи. Ее не было, она смешалась с толпой, и я загрузил.

Это было в первом мае нового миллениума...

Мне снился сон. Снился солдат, танцующий на броне странный танец: солдат стоял во весь рост на башне бэтэра, поднятые руки пропадали в огромном красном овале заходящего солнца. Солдат двигался как-то лениво: то прижимал локти к бокам, то выбрасывал длинные кисти поочередно вверх; руки плавались в горячем

воздухе, сливались с серым солдатским камуфляжем. От пыльной дороги и раскаленной брони волнами медленно поднимался прожаренный воздух. Танцующий на броне невысоко вскидывал колени, приседал, притоптывал: он не стучал зло, не выбивал ногами истеричную чечетку, он танцевал... солдатскую джигу...

Жаркий май. Ханкальская дорога. Вдоль обочины выстроилась армейская колонна: рокочук моторами «бэхи», наводчики крутят башнями; военный с лицом как у мумии запрокинул голову, вытряхивает из фляги последние капли, кажется, что он кадыком пьет — так ходит бугор вверх-вниз по длинному горлу. Флаг на флагштоке над головной бронемашинкой, на броне солдат танцует джигу... Это уже не сон. Мы выбирались из тошнотворной Ханкалы — тащились по дороге к КП группировки. Перевалив за шлагбаум, оказались на ничьей территории. Дорога. Она ведет в Грозный — город стальных крестов и пустых дорог. Я называл этот город кладбищем саперов. Тир... Мы тоже были мишенями. Это была игра, игра, от которой кровь стыла в жилах. Я многого тогда не знал: что контрактников называют «контрабасами», что они почти все идиоты, что среди них бывают приличные люди; что саперы гибнут раз в неделю; что мы, журналисты, тоже идиоты и что среди нас почти не попадается приличных людей. Добраться из Ханкалы в Грозный было подвигом; со временем к подвигу привыкаешь: мы привыкли бояться, привыкли работать, выпив или не выпив водки. Привыкли смотреть на смерть. На смерть смотреть хотелось — она ужасала. Где-то здесь, знал я, слева от Ханкальской дороги, если смотреть в сторону Грозного, был дачный поселок. Я предполагал, и у меня была даже схема, что в одном из дачных домиков, в подвале, навалены истлевшие трупы. Трупы, может быть, наших солдат, но недоказуемо. Я решил разведать. Нужны были психи, которые полезли бы с нами в густые заросли «зеленки». От жары становилось скучно, мы прошли мимо колонны, военные смотрели на нас равнодушно — привыкли к камерам и журналистам. Мы спросили, скоро ли колонна двинется в город. Военный с острым кадыком, стерев с лица пыль платком, стер и маску мумии, сказал, что неизвестно. Если военный отвечает, что неизвестно, значит, это военная тайна. Мы не стали тратить время и продвинулись вперед, но недалеко, чтобы колонна виднелась, и стали ждать попутку. Я размышлял так: доедем до комендатуры, там психов много, больше, чем на пустой Ханкальской дороге. Но психи попались именно на Ханкальской дороге. Бешеная огромная машина «Урал» неслась, ее мотало, будто у нее не было заднего колеса. Со скрежетом машина остановилась на мою поднятую руку, из кабины вывалился «контрабас» с пьяными глазами и небритым подбородком. Он выглядел не воинственно, а как тень свихнувшегося водителя-дальнобойщика. Мы запрыгнули через борт, за бортом были еще пятеро. Мы понеслись. Мы летели по Грозному; контрактник с лицом Гамлета, но коротко стриженный, доложил мне на ухо, что водитель пьян неделю: так ехать еще ничего, страшней, когда он засыпает за рулем, поэтому специально рядом садится доброволец, чтобы будить водителя. Я ничего не ответил, нас как раз мотнуло, и мы чудом — в полуметре — проскочили мимо бетонного «стакана» у дороги. Слюны во рту не было, я нервно сглатывал воздух. В комендатуре можно было пить, курить и сквернословить, только не пугать старших офицеров видом видеокамеры. Мы быстренько сговорились и на той же машине выехали в обратную сторону: когда проезжали мимо «стакана», я закрыл глаза. Проехали мимо колонны, она еще стояла. Свернули с дороги, где я указал, проехали еще метров сто и остановились. Из-за борта выпрыгнули человек семь контрактников и мы, журналисты с камерой. Водитель наконец заснул. Мы, покрутив карту так и сяк, решили двигаться, как обычно в таких ситуациях, наобум и углубились в «зеленку». Мне дали автомат. Шли мы след в след. Я ша-

гал и думал, что по этой дороге когда-то шли убийцы и их жертвы. Мы нашли домик. Я сидел у входа, зажав в руках автомат, и водил дулом по «зеленке»: предполагал, что там, в «зеленке», крадутся враги, чтобы всех нас поубивать. Огляделся и понял, что сижу на открытом месте... В подвале домика мы нашли то, что искали.

Ужасный запах, который всегда сопровождает процесс разложения человеческого тела, отсутствовал, но в подвале, освещенном фонариком, я уловил запах тления, запах разложившегося уже тела. Ноги в светлых кроссовках торчали наружу, остальное тело было присыпано землей; я увидел холмик, словно кто-то поленился похоронить тело как положено, наверное, торопился и просто прикопал его. «Кто „кто-то“? — думал я. — Убийца или убийцы?» Тогда я думал, что на войне нет убийц, на войне — враги. Контрактник, которого я звал про себя Гамлетом, спустился в подвал и зацепил труп за ногу «кошкой». Мы отошли на безопасное расстояние. Гамлет дернул. Я зажмурился и забыл про автомат, что был у меня в руках. Взрыва не последовало, тело не было заминировано. Мы вытащили тело наружу и стали искать другие тела, но больше ничего не раскопали. Тело, которое мы нашли, было без верхней части: ноги были, таз был. И больше ничего — половина. И никаких документов. Может, я ошибся? Мы еще раз повертели так и сяк карту. Нет, все точно. И мы решили уходить. Мы засунули останки в мешок, ноги не уместились — так и торчали из мешка светлые кроссовки.

Сумерки торопились. Краснел песок и облака — дело шло к вечеру.

Колонна все так же стояла вдоль обочины Ханкальской дороги. Контрактник Гамлет узнал, что колонна — комендачи из другой комендатуры, они ждут своего зампотыла, скоро они отправляются в Грозный. Решили ехать вместе. Пока знакомились и закуривали, малиновый диск солнца завис над дорогой. Мы не знали, кто лежит в мешке, мы не знали, что делать с трупом. Вокруг собрались солдаты. Кто-то сказал: давайте снимем с трупа штаны и посмотрим: если в трусах, то наш, если без трусов, то ваххабит, тогда выбросим в канаву...

Двое молодых людей в одежде официантов подошли ко мне. Я был им благодарен, что они отвлекли меня от воспоминаний. Два года прошло с крайней командировки... я только-только совершил посадку.

— Ну-с, молодые люди, — паясничаю я. У меня хорошее настроение. Я подумал, что вот и еще двести долларов, которые я принесу в дом. — Чем могу?

Они говорили со мной интеллигентно — как порядочные люди. Я не обиделся на них, просто у них была такая работа. Они намекали на мои джинсы, я сначала не понял, они продолжали намекать, а потом один, особенно похожий на официанта, тихо сказал, кривя губы, чтоб никто в холле не разобрал по губам:

— Мы вас очень просим, пройдемте в подсобное... у нас есть темные брюки, вы переоденетесь, нельзя в голубых...

— Я не голубой, у меня были любовницы, — искренне паясничаю я.

— Не в том дело, не в том дело... просто так не принято — в голубом: нужно в черном, в черном. Все в черном, а вы...

— И фотограф, девушка Моника Беллуччи, в черном поэтому? — уточнил я.

— Моника Беллуччи? Причем здесь... Не говорите ерунды. Все в черном, и вы должны быть в черном. Это банкетный этикет! Пройдемте, мы подберем вам по размеру.

— Кто мы? — я медленно превращаюсь в негодяя.

— Ну, как вы не понимаете? — стал горячиться молодой человек. Мне стало скверно на душе. Я снова поискал глазами свою Беллуччи. Вон она. Все в порядке.

— Так что вы хотите от меня? — спросил я официальным тоном. К нам подошла девушка-распорядитель, она стала уговаривать меня. Когда уговаривают девушки — это приятно. Но я только еще больше взъерепенился. Но сдержался.

— Скажите, вы допускаете, что я не ношу белья? Да — трусов. Под этими голубыми брюками нет трусов, сразу тело. И вы хотите, чтобы я разделся? Нет, мне не стыдно... Но я думаю о гигиене. Почему я не ношу трусов? Потому что ваххабит. Не хобит, а ваххабит. Кто это? Долго рассказывать...

Они стали нервничать. И я подвел черту.

— Я не стану переодеваться в чужое. Нужно было предупреждать заранее, я бы сразу надел темное. Я не клоун. Извините. Закончим.

— Предупреждали, предупреждали! — официант чуть не рыдал. Ему было чуть больше девятнадцати-двадцати, он впервые услышал слово ваххабит. Он не знает, что оно обозначает. Девушка-распорядитель старше его, она, вероятно, слышала про ваххабитов, у нее умное лицо распорядителя.

— Меня не предупреждали, — сказал я и подумал: «Черт рыжий. Изя — гад, как всегда!»

...С трупа немного стянули штаны: он был в трусах. Наш. Решили, что, может быть, один из тех семерых пропавших контрактников, про которых писали и говорили год назад. Где остальные? Может, их убили в другом месте? А может, это не контрактник, а кто другой? Но все равно решили помянуть: было время, был повод. Решили распить бутылку. Гамлет выудил бутылку паленого коньяка из кармана. Выпили, сказали слова: что царствие тебе, братан, небесное, и пусть земля пухом! Я подумал, что о земле еще говорить рано, хотя для самого истлевшего трупа поздно. И выпил глоток пахучей дряни. Бутылка покатила в обочину. Контрабасы занюхивали рукавами и курили. Гамлет забрался на броню головной машины и стал танцевать... За его спиной догорал еще один день чеченской войны.

Мне снился сон: солдат превратился в силуэт, — рыжее солнце обнимало его, а он танцевал на броне свою загадочную солдатскую джигу...

...Ко всему на свете привыкаешь, даже к окопу. Привычкой объясняется и наша кажущаяся способность так быстро забывать. Еще вчера мы были под огнем, сегодня мы дурачимся и шарим по окрестностям в поисках съестного, а завтра мы снова отправимся в окопы. На самом деле мы ничего не забываем. Пока нам приходится быть здесь, на войне, каждый пережитый нами фронтовой день ложится нам на душу тяжелым камнем, потому что о таких вещах нельзя размышлять сразу же, по свежим следам. Если бы мы стали думать о них, воспоминания раздавили бы нас; во всяком случае, я подметил вот что: все ужасы можно пережить, пока ты просто покоряешься своей судьбе, но попробуй размышлять о них — и они убьют тебя.

Когда бы можно было такому случиться, я бы пожал Эриху Марии руки и поклонился бы ему в ноги. И сказал: давайте с вами прогуляемся по аллее из тополей. Вы мне расскажите о себе... Я всегда таскаю с собой томик Ремарка — дешевое издание в мягкой обложке. Сколько твердости я выработал в своем характере, читая и перечитывая Эриха Марию. В метро и на юбилеях.

Последним, одним из последних пришел кинорежиссер, снявший фильм про Афганистан; он был очень смелым человеком — он сыграл в этом фильме смелого прапорщика и погиб. У него был нос картошкой. Он был в приличном шерстя-

ном сером костюме и белых кроссовках. На носу было густо пудры. Я пригляделся, когда он высказывал свой респект юбиляру, заметил прыщи под пудрой на носу. Пришла известная певичка, она ласково потрепала юбиляра за ушком. Пришел министр. Он откашлялся. С министром юбиляр не целовался.

Косенький инженер спросил меня, не видел ли он меня где раньше? Я сказал, что вряд ли. Он спросил меня, не работал ли я на таком-то центральном канале, я ответил, что работал. Чего врать, если вопрос в лоб? Кривой инженер стукнул себя по лбу, лоб у него был широкий.

— Вот где я тебя видел! — он вдруг заговорил со мной уважительно на «вы»: — Вы знаете, я хотел в театральное на комика, но, знаете, не решился. Нужны ведь связи, протеже...

Я перебил его. Я говорил уверенно, не сомневаясь в том, что говорю. Хотя мне было и неприятно, что приходится разговаривать о серьезных вещах со случайным знакомым, пусть даже понравившимся мне, я все равно сказал:

— Ни в коем случае. Хотя... Смотри чего есть желание добиться. Если настоящего, стоящего, чтоб на всю жизнь, тогда лбом своим. Только лбом.

— Да, да, вы правы.

Последними входили в банкетный зал незнакомые мне скромные люди. Я не стал брать у них интервью. Я искал свою Беллуччи. Она пропала. Я страдал. Выключили в предбаннике свет — работа закончилась. Я пожал оператору и кривому инженеру руки, сказал спасибо за работу. Пройдя через нарастающий гул юбилея в банкетном зале, очутился в технической зоне. Поймал Изю, не стал высказывать ему про черные брюки. Изя уже знал, он свел руки, как индус, у груди.

— Прости, милый. Что я могу для тебя сделать? Чем отплатить за муки?

Я знал, что Изя юродствует, но зла на него не держал, я похлопал его по плечу. Изя картинно застонал. Я прорычал:

— Гони деньги, гад!

Изя протянул мне свернутые вчетверо две сотни. Я спросил:

— Специально мям?

— Они лежали в кармане брюк... — Изя застонал.

Я знал, что Изя ломает комедию. Изя был правильный голубой, он не выставлял пороки на всеобщее обозрение: пил, как и я, в одиночестве. Предлагал как-то составить ему компанию, но я не знал, что за повод случился Изе напиться, и отказался. Просто я не стану пить по чуждому мне поводу.

На сцене опустили экран, началось кино. Кино было глупое и снятое из рук вон плохо: мальчик-сын читал по тексту, как его папа был фарцовщиком. Продюсер Изя сидел за пультом, он командовал всеми восемью камерами.

— Третья, третья, черт возьми! Пятая, пятая, крупный план юбиляра, правее, возьмите вдвоем с супругой... Чертова супруга! Кто-нибудь скажите ей...

— Что сказать, Изя? — спросил один из видеоинженеров.

— Проехали... Седьмая, пятая, крупно, первая!.. — и так все время.

Мне надоело следить за камерами и слушать Изин писк. Я выбрался к операторам, стал за их спинами и принялся выискивать глазами мою Беллуччи. Я нашел ее, она заняла позицию почти у выхода. Как я ее не заметил! Мне захотелось помахать ей. Я помахал. Она не обращала на меня внимания; в какой-то момент мне показалось, что она навела на меня телеобъектив. Она фотографирует меня? Зачем? А вдруг она тоже запала на меня? Мне же сорок, у меня плечи... та девушка ведь думала о страсти, глядя на меня. Мне стало смешно, что я в сорок лет становлюсь женским угодником: только наступило сорок, а я уже — женский угодник. Так не бывает, все

должно развиваться постепенно: и хорошие качества души, и премерзкие. Мне вдруг захотелось спать, я зевнул и вспомнил, как лет двадцать назад стоя уснул, когда, только-только призвавшись на флот, нес службу дневального по своей учебной роте...

Работа моя закончена, в кармане лежат нагретые Изей двести долларов. Но я не спешил уходить — я решил, что останусь до того момента, как станет уходить де-вушка-фотограф, моя Беллуччи. Я должен познакомиться с ней! «Не знаю, что из этого выйдет, скорее всего, ничего хорошего, скорее премерзкое».

Мы познакомились. Я сказал ей, что не могу найти повода познакомиться: но мы вроде работали плечом к плечу; могу ли я проводить ее? Она навела на меня объектив, я выглядел глупо. Она щелкнула меня и посмотрела, как получилось.

— А вы хорошо получаете, — просто сказала она. — Вам куда? Вы на машине?

— Нет, — ответил я, — на метро, — мне показалось, что она была разочарована моим ответом, но она думала о фотографии.

— Хороший снимок, но там козел на заднем плане...

— Это парковщик, — сказал я.

— Это уборщик, — уточнила она, — влез в кадр. Дайте-ка я вас еще разочек щелкну.

Она щелкнула, у нее получилось. И мы спустились в метро. Я трепетал рядом с ней. Вблизи ей оказалось не больше двадцати-двадцати одного.

— Мне двадцать, — сказала она и назвала себя. — Я Лиза, Елизавета.

— Как царицу, — почему-то заметил я, — или как пионера-героя Лизу Портнову. Вы не изучали пионеров-героев в школе? — спросил я Лизу.

— Нет, у нас были новые учебники истории. А вам сколько лет? Тридцать?

— Сорок, — гордо ответил я и подумал, что зря так сразу вывалил. Вдруг сорок для нее возраст? — Это не возраст! — оправдался я.

— И пятьдесят не возраст, — Лиза интимно повела бедрами. На ней была коротенькая дубленка с отороченными мехом краями и воротником. Она закинула на темно-каштановую головку капюшон. — Вам на какую станцию?

— Я вас провожу. Можно? — глупо сказал я.

— Мне по кольцу.

— И мне...

В вагоне почти не было пассажиров. На «Парке культуры» нас трясло и кидало друг на друга; на «Павелецкой» мы придвинулись друг к другу; когда объявили «Таганскую», я почти обнимал ее. Я очнулся на голос метро:

— ...осторожно, двери...

— Моя! — и бросился к выходу.

— ...закрываются...

— Я позвоню? — крикнул я. — Последние цифры — три ноль три?

— Три ноль три, — сказала она и махнула мне небрежно.

— ...следующая станция...

Мне показалось, что она махнула как-то необычно. Я вышел на платформу, двери сомкнулись между мной и моей Беллуччи. Она смотрела на меня, и поезд увозил ее в черный тоннель метрополитена. С воем скрылся в глубокой дыре последний вагон. Я потопал пересаживаться на «Таганскую» радиальную. Вдруг я нервно сунул руку в карман. Фу-у! На месте. Двести долларов! Я ехал домой. Дома меня ждала жена...

Мы любили друг друга.

Однажды я потерял работу. Жена сказала, что по собственной глупости, я же думал, что не по глупости, просто Бог увел от греха. Грех был государственного масштаба. Я трудился спецкором на Госканале ТВ, до этого спецкором на Независимом канале. Независимый стал просто Каналом. Когда я переходил на Гос, мне сказали: старик, придется врать. Я врал. Но недолго. Бог увел от греха. Слава ему!

Жена считала, что меня уволили по собственной глупости.

Мы стали меньше целоваться, на нее стали мощно влиять циклы и лунные фазы. Она бранилась на меня, мы ругались. Я пописывал свои рассказы, меня не печатали: говорили: не актуально, старичок, пиши актуальное и чтоб ничего было не понятно. У меня так не получалось. Чертово содержание цеплялось за чертову форму, и наоборот. Жена повторяла: о, как мне надоели твои писульки! Она ходила на работу — она трудилась журналистом, ведущим корром в одном крупном издательском доме. Она два раза в месяц получала зарплату, на которую мы жили: ели гранаты, грейпфруты, сыр, вишневые десерты, деревенский творог, «Бородинский» хлеб, кур, мясо, рыбу. Став безработным, я понял, что еда — это жизнь. Еще я понял, что бег — это жизнь. И я побежал. Когда меня вышвырнули с госслужбы, я некоторое время пил и дрался. Протрезвев, я выгреб оставшуюся мелочь и купил беговую дорожку.

Совершив посадку, я научился ездить в метро.

После двадцати семи командировок на войну совершить посадку трудно. Есть такие мои коллеги, которые всю жизнь ездят на поезде, передвигаются по земле. Они славные. Они были на войне, они не совершали посадок — они перешагивали с подножки на перрон. Другие пролетали мимо или глохли в воздухе. Некоторые, самые верные, говорили: лучше умереть на бегу, чем жить лежа. Я побежал. Я бегал без груза, я бегал с грузом, я надевал бронежилет весом в двенадцать килограммов и так бегал. Я стер в кровь две пары кроссовок. Истлевшую от бега кроссовку я приколотил над зеркалом перед беговой дорожкой. Она высохла и съежилась. Это был символ бега, символ жизни. Кофе утром, мясо в обед и творог вечером тоже были символами жизни. Здравый смысл стал символом моей жизни.

Жена меня всячески оскорбляла.

Я терпел.

Я стал бегать по пятнадцать километров.

Сегодня был день моего рождения, мне исполнилось... я посмотрел на часы: четыре часа, как мне исполнилось сорок лет. Это был возраст, так думали все, кому было меньше сорока. Мы с женой решили не отмечать «сорок», но она сказала, что непременно закажет к вечеру суши и вручит мне подарок. Подарок — это жизнь. Безработным нельзя дарить подарки — они расхолаживают. Я искал работу спустя рукава, последнее время работа сама находила меня — такая вот случайная. Но жена восхищалась моей работой — за два часа две сотни в твердой валюте! Она все еще любила меня.

Я пришел, переступил порог квартиры. Мы обнялись.

— Поздравляю, милый! Ах! — она была очень эмоциональна, ей было всего двадцать семь; когда мы познакомились, ей было только-только девятнадцать. Я знал ее, когда ей было десять; я знал ее мать молодой. Я подумал про Лизу-Беллуччи, и щеки мои стали гореть. Жена заметила, отстранилась от меня. Она взяла меня двумя ладонями за щеки. — Что так долго, милый? У тебя появилась женщина?

— Нет... что ты.

— Ты замерз?

На улице стоял конец января, было еле-еле холодно.

— Страшно.

— Как я тебя люблю!

— Как я тебя люблю!

Жена умела поддержать меня в нужный момент. Я умылся — смыл с лица окалину стыда — и сел за стол, на котором стояли в прозрачных коробочках суши, сашими, роллы, горчица васаби, соус и лежали рядом с ритуальными дощечками японские

палочки в белых оберточках. Вдруг вспомнил, вскочил из-за стола, прошел в соседнюю комнату и отодвинул створку шкафа-купе. Из кармана сложенных джинсов вытащил двести долларов, вернулся и положил на стол деньги.

— Это тебе, дорогая. Нам на отпуск.

— Ну что ты, милый, не сейчас, — сказала она, пряча деньги. — Сейчас подарок.

Вообще-то она любила деньги. К сорока я узнал, что деньги любят все женщины. И я смирился. Я любил ее подарки. На этот раз она подарила мне трусы. Я примерил, было эротично. Мы сели есть суши. Суши я мог есть долго: пока я ел, она положила на стол настоящий подарок (трусы были прелюдией) — это был зеркальный цифровой фотоаппарат «Никон».

— Я решила сделать подарок на твой юбилей.

— Сорок лет не отмечают... мы-м-мы... — сказал я, не в состоянии от счастья дожевать суши с лососем.

— Поэтому этот подарок нам — в семью. Ты — за?

— Я — за, — я прожевал сырого лосося: одной рукой притянул к себе коробку с фотоаппаратом, другой машинально тащил в рот новую суши. Я раскрыл коробку и обомлел: моей жене повысили зарплату! Это была прекрасная модель с зум-объективом! Я вцепился в камеру хваткой профессионального фотографа.

— Может, станешь зарабатывать, как раньше, фотографией? — сказала жена.

Я думал, что моя жена, вероятно, на очень хорошем счету в своем авторитетном издании: чтобы купить такую модель, мне пришлось бы отработать с десятков юбилеев, причем уровня не ниже нынешнего — «Европейского».

Когда-то моя жена была танцовщицей стриптиза. Это была шумная история — то, как я узнал про это. Некто позвонил на мой сотовый и сказал: твоя жена танцует голая! Я сильно расстроился. Она три года танцевала, а мне говорила, что работает нянечкой в элитном детском саду: ездила на работу в ночь, возвращалась утром. Мы жили скромно, нам не хватало денег, я еще не работал на большом ТВ. Скоро я стал известным военным корреспондентом, у меня появились деньги. Она все танцевала... Она врала мне, зато заработала за три года на квартиру в столице. Я узнал, что она танцует, и заплакал; решил, что спасу ее от позора! Нет, я не собирался ее убивать. Я уговорил ее, она больше не танцевала. Мы долго жили так: она не работала, училась на журфаке; я мотался по «горячим» командировкам, ссорился с родителями, редко видел дочь от первого брака. Все перевернулось два года назад: она окончила журфак, устроилась на работу, стремительно сделала карьеру. Я же рухнул: меня уволили с Госканала, и я стал учиться смирению. И большой литературе. И с тем и с другим выходило плохо. Я упорствовал.

Все актуальное в современном книгоиздании — ниже пояса, ниже интеллекта пионера восьмидесятых, или так: издательский бизнес изнасиловал литературу. Бизнес — слово, которому меня не учили в школе; всему, что я умею делать хорошего в жизни, меня научили в школе. И больше ничему.

— Дорогой, тебе нужно искать работу. Так продолжаться не может долго...

Она завела этот разговор, завела даже в юбилей, хотя «сорок» не празднуют. Я подумал, может, спеть ей. Не получится... Она уже тянется к сигаретам. К тому же я обжегся суши. Я пошел переодевать подарочные трусы на простые, затасканные. Она вышла курить на лестничную площадку. Она, конечно, страдала, что я не работаю. Любая женщина станет переживать, если ее мужчина не работает, потому что ей тогда не остается времени быть женщиной. Но мне было плевать на ее женское начало. Я наелся, мне подарили фотоаппарат, я принес домой немного денег, я придумал новый рассказ, завтра сяду дописывать старый. Я двадцать семь раз был на

войне... Я любил мою жену. Мне было, честно, плевать!.. Мы ложились в постель, она читала перед сном женские журналы, это меня всегда трогало. Я лежал в темноте, закинув руки за голову, ждал, когда она засопит. Она засопела — уснула. Все — можно. И я стал думать про девушку, которую теперь звал Беллуччи. Я не боялся, что во сне стану произносить ее имя. Моя жена была еще очень молода: она спала так крепко, что пустяковыми звуками ее было не разбудить. Если только потрясти за плечо. Но я лежал, не шелохнувшись. И думал про Лизу...

Високосный год поминал своих мертвецов: зима разрыдалась где-то с середины января, снег ложился на землю в ночь, утром его сгребали дворники, и он таял; с неба капал уже не снег, а дождь, — и настроения жить не было. У меня настроение появляется вместе с аппетитом — во время еды. Мы встали с женой рано, позавтракали, она взглянула на термометр за окном. Поежилась.

— Какая мерзость. Плюс два... Посмотри, у меня на панели снова лишняя лампочка загорелась, — говорит жена, опуская в сумочку ключи от BMW третьей модели.

— Надо звонить механику, — говорю я.

Жена сердится, мы сегодня опять спали спина к спине.

— Ты не мужчина?

— Я мужчина, но в машинах не разбираюсь.

— Да ты и в том, в чем надо мужику... — она многозначительно фыркнула, я понял, на что она намекает, — не разбираешься.

— Чтобы мотор завести, нужно ключик повернуть, — парировал я.

Она хотела было устроить скандал, но взглянула на часы и, хлопнув дверью, вышла. Она опаздывала на работу. Я вздохнул с облегчением. Когда мужчина долго берет пищу из рук женщины, он становится либо домашней болонкой, либо бездомным псом. Я пока не был ни тем, ни другим, мне удавалось удерживать свой зыбкий авторитет: с каждым днем это становилось труднее. Наступил год високосный. Високосный год исправно поминает своих мертвецов...

Было рано — только восемь на часах. Я сел писать: заварил чай, с полчаса глядел в окно, как дворники метут улицу от снега; постоял в ванной, думал: бриться или не бриться. Решил не бриться. Наконец сел писать: включил компьютер и подпер щеку ладонью, так сидел перед монитором, уставившись в заставку. Посмотрел на часы.

Я ждал, когда она проснется...

Конечно, она спала долго. Всегда видно по человеку, рано он встает или поздно. Люди жизнерадостные спят до обеда. Беллуччи ты моя! — подумал я. Мне захотелось романтики: что такое двести Изиных долларов по сравнению с романтикой!..

В десять я набрал ее номер первый раз. И пожалел. Она не ответила. Я ждал. В одиннадцать позвонил снова. Тишина. В два часа дня, когда я выпил два чайника заварки и написал полторы страницы, зазвонил телефон. Незнакомый номер. Смотрю, в конце — три ноль три. Не верю глазам, потом думаю: вот нахалка, ведь не спросила, женат я или холост — вдруг неудобно звонить мне в этот час.

— Алле! Кто это?

Я узнал ее голос: голос по телефону был совсем другим, но я узнал. Я назвал себя:

— Это я...

— А-а, — зевнула она.

— Я вас не разбудил?

— Разбудил.

Повисла неловкая пауза — я думал: как же я тебя разбудил, если ты сама позвонила? Она, наверное, искала ногами тапки, мерзла и тянула за собой одеяло. Я почему-

то подумал, что девятнадцатилетние девушки спят голыми. Моей жене было девятнадцать, когда мы полюбили друг друга, но она спала в пижамке.

Мы разговорились. Долго говорили. Она пообещала показать фотки с юбилея. Там был мой портрет. Она сняла меня на работе...

...Мы катались с разведкой по ночному Грозному. Разведчики отработывали адреса, мы прятались за их спинами с камерами и микрофонами. У меня была крохотная камера с инфракрасной подсветкой, я мог снимать в полной темноте. И запомнился мне день, когда оглушило Мельника. Как многие счастливики на войне, стал Вова Мельник отмечать этот день торжественно... Дело было так: на двух адресах сработала разведка чисто: бандюкам мешки на голову, руки за спину и мордой в кузов. На третьем адресе пришлось вышибать дверь. Сержант Вова Мельник шел первым. Мы спрятались за спинами разведчиков, нас оттеснили в самый тыл — на лестничный пролет. Был девятиэтажный дом: девятый этаж, узкая клетка на этаже, человек восемь в полной темноте и тишине. Я жду, когда начнется... Началось. Мельник ногой вышибает дверь, видит, что из темноты вылетает дульное пламя, его бьет очередь в грудь и валит на пол. Мельник успевает выстрелить в ответ и еще живой перекачивается на кухню. И затихает там контуженный и оглушенный. В это время за его спиной понимают, что он убит. Командир кричит своим: Мельника завалили! Я слышу, но молчу, двинуться от страха не могу. Мельник, понятно, тоже молчит, его очередь оглушило. Командир разведчиков говорит: мстить будем за Мельника! Живыми не брать! И бросает в квартиру первую гранату. Потом вторую. Третью... И так далее. Всего было восемь гранат. От взрывов у меня в ушах звон, в голове туман. Я еще не знаю, что Мельник жив, и никто не знает. Слышу: возня, мат. Вдруг выводят человека: руки за спину, пинают и тащат вниз. А следом волокут тело. И так волокут неловко, что ноги у тела задраны, их сержант Усков держит под мышками, а голова тела по ступенькам тук, тук. Вот тут-то я камеру и включил и давай снимать, как солдата неживым волокут с работы. Но Мельник живым оказался, он стал кричать, чтобы Усков дал ему закурить и не бил его головой о ступеньки. Усков думает, что Мельник ранен, вынимает нож и режет разгрузку, чтобы добраться до израненной груди. Мельник уж матом орет на Ускова: что ж ты, такой-сякой, творишь — зачем, гад, обмундирование портишь, за него деньги уплачены! Я снимаю на камеру. Выволокли Мельника на улицу, дали закурить, влили спирта из фляги в рот. Стали фонариками светить на грудь: четыре пули летели Мельнику в грудь, все четыре попали — сначала в автомат, от автомата в рацию и, продырявив разгрузку, ушли в потолок. И еще с десятка веером прошли в миллиметрах от стриженной мельниковской головы. Вот так работа, думал я потом, переписывая кассету Мельнику на память...

Мельник звонил мне из Красноярска, было поздно, и жена, недовольная, что мне звонят не вовремя, пошла демонстративно курить на кухню. Вова Мельник сказал, что сегодня юбилейная дата, как его глушануло, и они в честь этого засиделись допоздна. Я поздравил его. Жена еще из-за того злится, что мне звонят военные со всей страны, звонят, как она думает, со всякой ерундой. И еще из-за того, что я не могу забыть то, что на войне со всеми нами было. Я пытался объяснить ей, что забыть это невозможно. Она плакала и кричала, что ждала меня двадцать семь раз и ненавидит меня за это.

Прошло полгода. Уже полгода мне было сорок. Полгода — это срок.

Наши отношения с женой почти не изменились: она стала приходить поздно, я ставил телефон на виброзвонок; она подолгу засиживалась в инете, когда я уже гасил лампу у прикроватной тумбочки.

Лиза оказалась прелестной любовницей, первой за все восемь лет моего последнего брака. Я не стеснялся врать жене: врать почти не приходилось, она подолгу бывала в отлучке. Она вошла в пул кремлевских корреспондентов, стала ездить по командировкам. Ей стало дозволено писать про Кремль. Власть не испортила ее, но она стала реже появляться дома, она стала одеваться строго; раньше она носила короткие юбки и прозрачные топики, и мне нравилось видеть в ней женщину. Последнее время я путался в чувствах к своей жене. Наша любовь и семейная жизнь была в очередной раз подвергнута ревизии. Я готов был дать взятку ревизорам, но не знал, кто они.

У Лизы жила собака, рыжая такса по кличке Роки.

— Мой отец неудачник, — рассказывала мне Лиза. — Роки, Роки! — она часто прерывалась и звала мечущуюся по дорожкам парка таксу. — Квартиру мне купили дедушка с бабушкой. Дед был известным архитектором.

Она жила недалеко от Садового кольца, недалеко от бульвара и парка, недалеко от салона, где стриглась и делала маникюр, недалеко от своих бабушки с дедушкой.

— Почему твой отец неудачник? — спрашиваю я Лизу.

— Он добрый, хороший, но он всегда спорил.

— С кем?

— Со всеми. На работе, в магазине, в салоне, где я теперь стригусь, с дедом и со мной.

Мне показалось, что она не случайно заговорила об отце: может быть, она сравнивала меня с ним? Молодые женщины выбирают себе мужчину, похожего на отца, кем бы он на самом деле ни был. Мне стало не по себе, и я спросил на отвлекающую тему:

— Ты читала Ремарка?

— Да. «На Западном фронте без перемен». По иностранной литературе. Был экзамен. Я плакала.

— На экзамене? — спросил я.

— Нет, когда в конце он, Пауль, погиб, а в газетах писали, что на Западном фронте все так же — без перемен.

— Я не плакал.

— Ты мужчина... Роки, Роки!

Собака мчалась по дорожке парка, уши ее развевались двумя лоскутами, она пронеслась мимо и умчалась далеко вперед.

— Хочешь, я тебе прочитаю цитату? — и я стал читать:

Но вот я ощущаю губы худенькой смуглой и нетерпеливо тянусь к ним навстречу, и закрываю глаза, словно желая погасить в памяти все, что было: войну, ее ужасы и мерзости, чтобы проснуться молодым и счастливым; я вспоминаю девушку на афише, и на минуту мне кажется, что вся моя жизнь будет зависеть от того, смогу ли я обладать ею. И я еще крепче сжимаю держащие меня в объятиях руки, — может быть, сейчас произойдет какое-то чудо.

Я не успеваю закрыть томик в мягком переплете. Моя Беллуччи кидается на меня в порыве нахлынувших эмоций. Она целует меня, мочит щеку своими губами,

гладит ладонями по щекам, подбородку, шее; захватывает мой затылок, чтобы не как женщина, а как мужчина властно поцеловать меня. Я невольно отстраняюсь от нее. И смотрю на нее с удивлением. Она стала говорить, как много мне пришлось пережить за двадцать семь командировок... Я что-то уже рассказал ей про себя: не помнил точно, но вроде бы некоторые события раскрыл даже в деталях. Мне стало ужасно стыдно и гадко, что она подумала, будто я перевожу на себя слова великого писателя. Она все-таки поцеловала меня. Я не сопротивлялся, я стерпел. Мне было не по себе. Я опустил глаза, будто искал, куда провалиться, в дыру какую-нибудь в земле, щель, трещину в асфальте; но я увидел ее сапоги, модные, дорогие сапожки со стертыми носками... Где-то в тайных закутках моей души я нахожу то, от чего мне стало не по себе, — жена! Она не могла больше выслушивать меня, не могла больше терпеть меня в одной квартире: жить, спать рядом со мной. От меня, как от наездника конским потом, разило войной. И тошнотворный этот запах удивлял непосвященных, сводил с ума обессиленных, лишал покоя умалишенных.

«Теперь вот и ты...»

— Не стоит думать о войне, милая Беллуччи, — я никогда не называл ее Беллуччи. И вдруг вырвалось. — Прости меня.

— Как ты назвал меня? — она была удивлена, скорее озадачена. Она — Беллуччи?

— Ты не похожа на нее. Но ты была не похожа на других в холле на юбилее! Как и она.

— Я красивая? — она уже не хочет страдать, она хочет пылать и, может быть, сгореть от любви и счастья. Она хочет быть Беллуччи.

— Ты красивая, — говорю я, стараюсь не наступить на таксу, крутящуюся под ногами.

— Роки, Роки! Милый мой Роки!

Когда женщины называют собак ласковыми именами, значит, они думают о сексе. Я посмотрел на часы. Пора.

— Прости, милая, мне пора.

— Не уходи, — закапризничала она. И я не ушел. Конец лета в московском парке как эпилог в хорошем кинофильме про любовь: она собирала первые желтые листья...

Она была такая же, как все девушки в девятнадцать-двадцать лет.

Но страстная...

Собака лижет кончики моих пальцев, я прячу ноги под одеялом. Мне хочется домой, я незаметно смотрю на часы: я на старте, но всегда трудно встать и уйти — нужен повод. У меня повода нет, я встаю без повода. Она распахнулась и лежит бессовестно голая, она делает белыми ножками «ножницы», она распушила по подушкам каштановые, темно-каштановые волосы. Она почти счастлива, как бывают счастливы молодые женщины, у которых не убежало с плиты молоко и у кровати на ковролиновом полу целая кипа непролистанных глянцевого журналов. Мы должны прощаться до следующего раза; с каждым разом мне прощаться легче — я начинаю уставать от ее беспардонной молодости. Заклятый враг страсти — нравоучительная беседа. Я застегиваю брюки и стараюсь не смотреть на ее прелестное тело. Она восхитительно бессовестна. Я бы мог остаться еще, но телефон уже два раза вибрировал, и я знал, кто это звонит...

— Так ты завтра идешь на юбилей?

— Да, дорогой, — она перевернулась на живот и превратилась в Лолиту. Я почти передумал уходить. Но я знал, что она именно этого и добивается. И стал серьезен.

— Тебе не надоело? Мы же говорили с тобой, что ты должна стать серьезной...

— Фу-у!

— То есть сделать карьеру...

— Уу-у!

— Милая, ты талантлива, — соврал я. Мне не нравились ее фотографии.

— Тогда останься.

Она становилась навязчива, я почти не любил ее. Она была неважным фотографом: она могла сделать хороший снимок, но была, как мне казалось, не способна на шедевр. Женщина, которая не способна на шедевр, утомляет. Я убеждал ее, что она непременно должна оставить поприще юбилейного фотографа и заняться интересным, стоящим делом. Интересное, стоящее дело — это большая журналистика. Сказал я и осекся.

— Хочешь, я расскажу тебе про войну?

За полгода я понял, что ей нравится слово «война»: как все страстные люди, она не только была прелестной любовницей — ее внутренний мир, как и бессовестное тело, требовал насыщения. Она превратилась в слух: она соскочила с кровати и стала бегать голая по комнате, схватила какую-то одежду, накинула на себя, прыгнула обратно в постель и подобрала ноги, закутав их одеялом.

— Да, да, милый!

Я подумал, что она все-таки сумасшедшая, и я совершаю ошибку, терзая ее своими воспоминаниями. Но я подумал: почему нет? Она читала Ремарка, чтобы сдать экзамен, и плакала только в конце, где плачут все, кто читает Ремарка для того, чтобы сдать экзамен. Моя Беллуччи похожа на других!.. Мне нужно было бы идти... Я присел на кровать и отключил мобильный телефон.

— Я расскажу тебе две истории. Обе про войну...

Собака расположилась у моих ног, опустила морду на ковровый ковер, так что уши легли по сторонам двумя лопухами.

— Максимализм и равнодушие — ВИЧ русской интеллигенции... Зачем было забывать Ленина? Он был умный человек: умного не нужно ненавидеть, о нем нужно знать. Ленин утверждал, что творчество буржуазного писателя, журналиста напрямую зависит от денежного содержания. То есть нет и не может быть никакой свободы слова, демократии и тому подобной анархической дребедени. Но Россия — страна бунтовщиков и паленой водки. Мы случайно на несколько лет, вопреки ленинским тезисам и принципам буржуазной демократии, освободили пишущие мозги страны от условностей цензуры и денег. Несколько лет мы писали и говорили, что хотели, что считали правильным, что казалось нам правдивым и истинно демократичным. Нам даже говорили, что война — это ад на земле, что нужно призвать к ответу зачинщиков ее, что чиновники, разворовавшие казну, должны сидеть в тюрьме, что недра страны — это наше общее богатство. Боже, как это пошло звучит сегодня! Я покривлю душой, если скажу, что мы на своем Независимом телеканале работали за совесть. За деньги... Нам давали возможность писать и говорить правду, деньгами прикрывая ту брешь, которая всегда образуется между людьми творческими и реальным миром. Нам позволили развернуть во фронт наши души и, невзирая на потери, атаковать, атаковать, атаковать: бить, колоть, резать правду-матку! И мы резали... И мы забывали, что сегодня день зарплаты, что нужно сходить в бухгалтерию отчитаться за командировку, что доллар растет, что доллар падает и т. д. Наши пламенные репортажи, как бунтовщики Горького, звали к буре. Страна хотела жить... Государство хотело жить в болоте... Государство сильнее страны, как Ленин величественней тех, кто позволил стране забыть о нем. Я бы составил таблицу деспотов по принципу таблицы Менделеева и каждому деспоту присвоил бы удельный вес в мировой истории. Ленин, наверное, был бы тяжелее остальных. Свинец, а не чело-

век. Так вот: было бы не так обидно, если бы нас раздавили люди из свинца, но нас уничтожили люди из алюминия. Их было больше, они были воспитаны, вернее, «не воспитаны» системой. Они не так быстро плавилась, как люди из свинца. Когда мы почувствовали, что приходит конец свободе нашего слова, каждый из нас бросился занимать нишу. Нишу культуры, нишу политики, нишу криминала, нишу спорта. Ниша войны была моей. Я замешкался, и ее заняли люди из алюминия. Из чего я? Не знаю. Но я закаляюсь... К тому же война закончилась — ее законсервировали. И мне указали на место криминального корреспондента. Мне было обидно, потому что я ходил с разведкой на гору... Мы сидим на первом этаже телецентра Останкино, рядом оператор, щуплый, плюгавый малый: но он пьет со мной, слушает меня, соглашается со мной и поддакивает. «Криминал? — говорит он. — Знаешь, как программа „Криминал“ на нашем Независимом канале зарабатывала деньги? Они снимали негативный репортаж о какой-нибудь несчастной фирме. Приносили кассету директору и объявляли сумму: если им не платили, репортаж шел в эфир. С ментами делились, может, не делились. Но кто станет бесплатно сливать информацию? А крыша? Нужна же крыша! И еще у них телеведущий — бывший сутенер». Это не важно, думал я, кто кем был раньше. Обидно, что мы разворачивались во фронт за те деньги, что нам платили, — могли бы платить и больше. Теперь я согласен с Лениным, когда осмыслил...

Я умолкаю. Беллуччи внимательно вглядывается в меня, дрожит плечиками.

— Замерзла? — спрашиваю.

— Нет, тебя жалко. А ты что, из стали, получается? — она трепетала, ее возбуждала сама мысль об опасности, совсем как взрослую женщину.

Мне опять неловко, что она думает обо мне как максималистка. Вот пример, когда самомнение возвеличивает главного героя в глазах героя второго плана. Я вдруг понял, что совершаю подлость: таких, как моя Беллуччи, нельзя провоцировать войной, они непременно захотят попасть туда.

Натягиваю пуловер. На дворе хоть и конец лета, но лета московского — свежо — облака гуляют наискоски с востока на север и запад. И я читаю:

Облака гуляют наискоски —
С востока летят на север и запад!
А я подыхаю от тоски
И ем макароны на завтрак.

Она удивилась?

Нет. Она не заметила, что это была случайная рифма.

Я не пишу стихов.

Она думала, что пишу.

Она так плохо изучила меня за полгода нашей близости: она открывала форточки, а я люблю, чтобы были закрыты, потому что не хочу слышать шум улицы.

И тогда я посвящаю ей прозу, ту, которую она желала бы слышать.

— Милая, теперь я расскажу тебе про двухсотый батальон и дорогу на юг. Груз двести... Ты знаешь, что такое груз двести? Сейчас все знают. Это мертвые едут домой. Солдаты. Их обмыли в солдатском морге, одели в парадное, положили в деревянный ящик, запаяли ящик в цинк... После этого они становятся «грузом двести» и едут домой. Представляешь, батальон под номером двести! Ты в каком служишь? В двухсотом?! Мама дорогая! Комбат «двухсотого» похож был на ствол дерева. Есть

такие деревья на юге: выгнутые в хребтине, стиснутые окаменевшей корой; ветки ломай — а они не ломаются, лишь гнутся и трещат; плоды на них кислые — в рот не взять; жечь дерево станешь — будет долго гореть, будет в уголь превращаться, и сразу в каменный. Таким вот человеком был комбат «двухсотого». Представь себе, милая, свой первый боевой выход я совершил с «двухсотым» батальоном. Мы уговорили комбата. Мы вышли с его солдатами на южную дорогу. В Чечне, как и в любом просторном месте, много дорог. Южная — та, которая тянулась с севера на юг к старому Бакинскому шоссе и дальше к предгорьям Большого Кавказа. Мы шли по ней. Ехал танк. Бэтээры. Саперы шли и ворошили щупами землю по обочинам. В ямах стояла вода. Была ранняя весна, в горах уже собрали нежную черемшу. Все было для меня необычно и вновь — как ожидание первого ливня: вот как ты меня, слушал я комбата с открытым ртом, а он указывал на сваренный из полуторадюймовых труб крест у моста. «Сапер на фугас должен идти в одиночку, — говорил комбат. — Лейтенант у нас был, царствие ему небесное, и еще четверым рабам божьим земля пухом...» Я тогда спросил его: вы верующий? Он сказал: верить позволительно. И дальше рассказал, что погибли они, кому теперь крест у мостка, в один день: лейтенант первым обнаружил провода, по проводам вышел к мостку, где и прятали подрывники свой фугас. Поднял руку... Все правильно сделал: колонна по его сигналу насторожилась, сам прижался к земле. Ему бы опыта... Он подозревал солдат, разминировали первый фугас. А их подловили на втором. Все четверо взлетели. Собирали останки по ветвям и кустам, не все собрали, все было не собрать... Я внимательно слушал комбата: как прошли мост, я все оборачивался на крест. Я был страшно горд — ведь я прикоснулся к подвигу, из первых уст, как говорится. Комбат еще добавил: если бы не занервничал лейтенант, один бы только и погиб. А точно бы погиб лейтенант? — переспросил тогда я. Без вариантов, сказал комбат. Меня передернуло. И я обратил внимание на животных. Саперные собаки похожи друг на друга, у всех одинаково добрый характер и тоскливый взгляд. Саперные собаки мало живут, потому что сгорают на работе. Так сказал сержант-срочник. Я поверил ему. Потом я поверил комбату, что впереди, у дороги, на нас поставили фугас, и повалился вместе с оператором в канаву. Когда комбат с группой солдат стал выдвигаться в сторону, откуда по нам стреляли, я выскочил из канавы, за мной оператор; мы пристроились к солдатам. Комбат увидел нас, сделал страшные глаза и сказал, что, если мы не спрячемся обратно в канаву, он сам застрелит нас, тогда будет необидно идти под трибунал. Я понял, что комбат боится за наши жизни, был горд, что сам ни в грош не ставлю свою жизнь; мы спрятались в канаве, я посмотрел в глаза бывалому оператору. В глазах у бывалого оператора был страх. Тогда я схватил микрофон и стал суетиться. Не суетись, сказал оператор. Но я вскочил, посмотрел, откуда примерно по нам стреляли, встал так, чтобы была видна картина боя за моей спиной, и поднес к лицу микрофон. Работаем! — прокричал я. Идиот! — сказал оператор и включил камеру. Я говорил «в кадр», за моей спиной слышались выстрелы. У меня дрожали руки и нижняя челюсть; у меня не получалось, я волновался; оператор кричал, что я — идиот! И никак не мог отстегнуть микрофон от камеры: он тоже нервничал, хоть и считался бывалым оператором в нашей Независимой телекомпании... Мы дошли до Бакинки — до конца маршрута. Комбат присел у дороги, положил автомат на колени, и я его сфотографировал. Мы перекусывали тушенкой и сухарями. Потом фотографировались на фоне бэтээра с солдатами двухсотого батальона и их комбатом. Потом мы пошли обратно. Нас хотели взорвать еще два раза: в двадцати метрах перед нами сработал фугас, над головами свистели осколки. Я лежал лицом в луже и не смел поднять голову: мне было обидно, что меня убьют теперь, когда у меня такой материал на руках —

настоящая война; теперь я мог рассказать зрителям правду о войне, что шла на юге нашей страны.

Она вдруг перебила меня, почти крикнула, почти со слезами, вскинула точеный профиль, распушила каштановое, темно-каштановое.

— Правду? Какую?

В кармане предупреждающе завибрировал мобильный телефон.

— Прости, милая, потом дорасскажу.

Я ушел. Она, мне показалось, плакала. Я шел по бульвару, через парк, к метро и думал: как моя Беллуччи напоминает мне... да, да, ее, мою жену, когда ей было девятнадцать лет! Неужели есть женщины-двойники? — думал я. В метро я попал в час пик, стоял в очереди за проездным талоном, спускался по эскалатору, ввалился с остальными в вагон. Ехать мне было недолго и без пересадок, я прижался к дверям и потянулся за Ремарком. Ремарка в кармане не было, я пошарил по другим. Не было! Я забыл Ремарка у Лизы. Ничего, подумал я, заберу в следующий раз. Я еще не знал, что следующего раза не будет у нас с ней...

— Следующая станция «Таганская», — объявил металлический женский голос.

Прошел месяц.

Жена сожалела, что я потерял Ремарка, это была именно та книга, с которой она сдавала экзамен по иностранной литературе на журфаке. Она даже подчеркивала цитаты.

— Как жаль, что ты потерял ее. В метро?

— В метро, — я стыдливо прятал взор.

— Ты знаешь, дорогой, — сказала мне жена, — у нас новая сотрудница. Прелестная девушка, но совершенно бестолковая. Но упертая, думаю, у нее со временем получится. Почему ты так покраснел, ты расстроен, что я теперь буду работать с девушкой в паре? Ты меня ревнуешь?

— Я тебя ревную к работе, — сказал я.

— И к мужчинам?

— И к мужчинам.

— И к женщинам?

— Нет, — сказал я, — к женщинам не ревную, потому что вы все одинаковые.

— Как и вы, мужчины?

— Нет, мы все разные.

— Но женщины так не думают.

Мы снова посожалели о Ремарке. Она все еще помнила о потерянной книге. Она вспомнила и на этот раз.

— Дорогой, я решила тебе сделать подарок.

— Спасибо, — буркнул я.

— Это будет Ремарк.

— Спасибо, — я ждал подвоха. Жена улыбалась так искренне. Она не умела хитрить, она бы закатила скандал. Она менялась, как и я.

— Тебе нужно искать работу, — сказала она мне за ужином. Я пошел переодевать модные трусы на простые, затасканные. Моя жена много зарабатывала, все-таки — в кремлевском пуле: наверное, у нее были любовники.

Беллуччи пропала. Она не отвечала на телефонные звонки. Ее телефонный номер не обслуживался. Домашнего я не знал, так уж получилось. Я пару раз заезжал на ее адрес, потом грустный брел под дождем по бульвару. Уже накрапывала ранняя осень. Одиночество подстерегало меня за углом у метро. Или где-то в другом месте. Оно брело за мной — простуженное одиночество в сыром пальто.

И вдруг она позвонила.

— Алле, это ты? Это я. Ты сердисься?

Я хлюпал по раскисшим дорожкам парка, я присел на скамейку и запахнул воротник пальто, ветер пронизывал мое голое горло. Я не носил шарфов. Лиза сказала, что сейчас не в Москве. Она работает в одном авторитетном издании и сейчас далеко-далеко. Она не в России.

— Если ты в Европе, надень теплый шарф, а то простудишься. К тому же это модно.

— Я в Европе, милый. Обещаю, я буду модной. Серьезной... Помнишь?

Она все еще звала меня милым: все женщины зовут так своих любовников и друзей. По интонации я понял, что перехожу в разряд ее друзей. Она становилась серьезным фотографом, фотокорром, специалистом.

— Милый, я приеду — столько тебе всего расскажу. Вау! Так прикольно! Моя начальница — отпадная баба. Лет тридцать-тридцать два, но выглядит моложе. Страшная зануда. Пьет коньяк ведрами. Никогда не пьянеет. И, похоже, она лесбиянка. Она равнодушна к моей груди.

Я подумал, что мало кто останется равнодушным к ее прелестной груди.

— А я фотографирую осень в твоём парке.

— Осень?.. Милый, мне пора бежать. Пока-пока.

Откуда она набралась этого гадкого «пока-пока»? Изи Гарцмана манера, всех моих чертовых коллег. Изе я все прощу. Изя хоть и голубой, но, когда в Грозном попал со своей съёмочной группой под обстрел, сильно не обгадился, даже записал стендап и снял обезумевшие рожи ментов на блокпосту, отстреливающихся в разные стороны. Изин репортаж был супер. Еще одно поганое слово — «супер». Как дела? Все «супер». С...! Я злюсь. Отчего? Я неудачник? Моя жена — в президентском пуле, меня выгнали с работы, меня бросила любовница. Есть от чего разозлиться.

...Мы добрались до южных окраин Грозного, колонна инженерной разведки погрузилась на бэтээры и в кунги грузовиков и двинулась на Ханкалу. Комбат напоследок пожал нам руки, подарил на прощание теплый осколок. Осколок был с острыми краями: я держал его в руках и представлял, как этот соколок торчит в моем темени, а я воплю от шока и умираю. Меня передернуло. Комбат пожелал нам удачи и сказал: не играйте в войну, не играйте с войной, мальчишки. Он имел право называть нас мальчишками: нам было по тридцать — у него были погоны подполковника...

Они вернулись из командировки вместе с кремлевским пулом. Они разъехались по домам. Их развезли служебные машины. Я слышал, как под окнами взвизгнули тормоза, хлопнула дверь, сработал сигнал домофона. Я заправил одеяло на нашей кровати, присел на стул в кухне, положил перед собой распечатанный на принтере только что законченный рассказ. Щелкнул ключ в двери. Она вошла. От нее пахло коньяком и прелестными духами: они пьют коньяк, когда летят домой. Она разделась и прошла в ванную комнату. Она поставила на диван сумку, она никогда не ставила сумку на пол. Она вышла из ванной голая, не стесняясь меня, — она никогда не стеснялась меня, меня вообще женщины не стеснялись. Она прошла в спальню, бросила на плечи розовую комбинацию. Она потянулась к сумке и достала из нее томик Ремарка. Я прятался в ванной и не видел, что она делала. Я вышел и застал ее лежащей в нашей кровати с глянцевым журналом в руках. У кровати с ее стороны лежала еще стопка таких же глянцевых журналов. На кровати с моей стороны

лежал томик Ремарка. Я присел на кровать, взял книжку, полистал. Я узнавал знакомые, зачитанные моей женой, а потом и мною страницы, перечитывал цитаты, помеченные рукой моей жены. Я стал читать вслух:

— Я встаю. Я очень спокоен. Пусть приходят месяцы и годы — они уже ничего у меня не отнимут, они уже ничего не смогут у меня отнять. Я так одинок и так разучился ожидать чего-либо от жизни, что могу без боязни смотреть им навстречу. Жизнь, пронесшая меня через эти годы, еще живет в моих руках и глазах. Я не знаю, преодолел ли я то, что мне довелось пережить. Но пока я жив, жизнь проложит себе путь, хочет того или не хочет это нечто, живущее во мне и называемое «я».

На следующий, невисокосный год мы все погибли...

Мы прожили еще только год, счастливый и жалкий год. Лиза не вышла замуж: она постоянно путалась в любовниках, иногда звонила. Мы болтали. Я делал вид, что ничего не знаю об их отношениях с моей женой. Жена рассказывала мне об успехах и любовных похождениях своей сотрудницы, некой Лизы, и делала вид, что ничего не знает о наших с ней отношениях. Со своей Беллуччи я расстался за год до нашей смерти. Она все это время ничего не знала про наши с женой отношения.

В минувший високосный год пришли к власти люди, тоже порядочные, но им вообще не было места в таблице: они ничего не весили, они были пустым звуком — ноль целых, ноль десятых. Они не смогли удержать страну в рамках...

Где-то на юге, как обычно бывало в России, началась кровопролитная война.

Моя жена и Лиза погибли во время командировки: случился теракт, был страшный взрыв возле здания, в котором они находились. Я думаю, что от них ничего не осталось.

Но похороны были.

Я думаю, что хоронили пустые гробы. Теща кидалась на гроб и кричала, чтобы гроб открыли и положили ее вместе с дочерью. Она била меня по лицу и кричала, что это я убил ее дочь. Как хоронили Лизу-Беллуччи, я не видел и проводить ее в последний путь не смог. Да я и не думал о том, чтобы присутствовать на похоронах женщины, которой я когда-то рассказывал о войне...

Меня убили через неделю. Меня все-таки взяли на работу: бывшей Независимой, новой Настоящей телекомпания понадобились опытные военные корреспонденты. Мы выдвигались на боевую операцию: в какой-то момент начался обстрел, все попрыгали вниз с брони бэтээра. Я на долю секунды задержался, передавая камеру оператору. Осколок врезался мне в кадык, разорвал артерию. Я помню, как я умирал: я видел небо и глотал собственную кровь, которая была фонтаном из моего горла. Я не чувствовал, как свалился на броню, заливая ее кровью, уже не чувствовал, как меня схватили и пытались наложить мне повязку. Кровь быстро вытекала из моего тела. Потом я поднялся в небо и долго летал над этой землей: горами, домами, реками, кинотеатрами, парками, метрополитенами, Кремлем, улицей моего детства, роддомом, где мама рожала меня. Потом я вдруг сразу исчез. А на земле, среди сотен и тысяч других убитых на войне людей, осталось лежать мое мертвое тело...

— Осторожно, двери закрываются, следующая станция «Таганская»...

Голос метро вывел меня из оцепенения.

Последний раз я заснул стоя лет двадцать назад, когда первый раз нес службу дневального по роте. Дежурный по части незаметно вошел в казарму и дал мне та-

кого пинка, что я опрокинул и тумбочку дневального, и стенд со статьями военного устава. Перебудил полроты. Дежурный по роте, старослужащий матрос, пообещал меня сгноить.

— Молодой человек, смотрите, когда стоите! — девушка с белой челкой хмурилась на меня. — Не видите, я стою.

Вагон был полупустой, я с удивлением взглянул на девушку, на ее глупую белую челку, потом посмотрел на часы. Примерно четыре часа назад мне исполнилось сорок лет. Сорок лет не отмечают, это не юбилейная дата. Но повод. Поезд тронулся, и мы нырнули в черный тоннель. Следующая моя. Я люблю проезжать «Таганскую»... к сорока годам я окружил себя порядочными людьми... Дежавю! Вдруг я вспомнил, испуганно зашарил по карманам. Деньги на месте... Я ехал домой, дома меня ждала вернувшаяся с работы жена, она была редактором на интернет-сайте одной известной телекомпании. Милая моя жена, любимая моя сварливая девчонка, добрая моя попутчица. Я знаю, ты уже приготовила мне подарок на юбилей. Как я люблю тебя! Прости меня, родная, за цифру двадцать семь...

Я вижу в своих руках томик Ремарка, открываю на последней странице и читаю последний абзац:

Он упал лицом вперед и лежал в позе спящего. Когда его перевернули, стало видно, что он, должно быть, недолго мучился, — на лице у него было такое спокойное выражение, словно он был даже доволен тем, что все кончилось именно так.

Я произношу вслух:

— Эрих Мария Ремарк!